

Вместо предисловия.  
Письмо Анатолию Басину (28 октября 1992 г.)

*Дорогой Басин!*

*Хочу надеяться, что твой срок не будет долгим. У нас тоже произошло много разных событий, самым грустным из них является смерть Коли Любушкина (12 сентября). То, что касается твоих дел: наш польский друг съехал вместе с ключами, не заплатив за квартиру. Мы послали телеграмму с просьбой вернуть хотя бы ключ (в Польшу), но ответа не последовало. Пришлось ломать дверь. Мы пригласили Аркадия, который с большой аккуратностью сделал работу взломщика, но, когда он влез через дырку внутрь, оказалось, что дверь, с ее мощным замком, держалась на ржавом шурупе, ввернутом в гнилушку, и при легком нажиме открылась бы сама.*

*Мы забрали твои вещи (все очень аккуратно), т. к. человек (т. е. Маша) должна была там жить, а не только любоваться на твои картины и нести за них ответственность.*

*При перевозке я твои картины одного размера связал клеей лентой, и таким образом все благополучно переехало в деревню, где мы живем с Сильвией.*

*Теперь полгода, даже больше, почти ничего не продавалось, закрытие сквата всегда связано с огромной потерей времени.*

*Из-за отсутствия красок я даже начал писать книгу, в подражание тебе. Я хочу написать веселую книгу и поэтому избрал форму исповеди, адресованной к однокашнику, который съел свою долю юмора и поэтому поймет меня правильно.*

*Большая к тебе просьба: никогда не напоминай о Н. Этот человек сделал мне большое зло. И тебе я тоже не советую дружить с ним, несмотря на то что у него компьютер, — чтобы тебе не пострадать.*

*Это письмо, написанное в полдень 28 октября 1992 г., я хочу положить краеугольным камнем книги, так как форма будущей книги родилась в процессе написания этого письма, две минуты тому назад, по дороге на станцию «Гонесс», из деревни в город Париж.*

*Басин, я не хочу писать роман-покойничек, но живую книгу с грамматическими и другими ошибками. Многие не любят меня за откровенность и за субъективное отношение к вещам, но другого отношения к вещам у меня нет.*

*Итак, дорогой друг, не напрягайся и ни о чем не проси. Я буду тщательно избегать фантазии, а тем более воображения. Это единственное, что я обещаю.*

*Я решил эту главу не редактировать, а оставить так, с оговорками, стилистическими ошибками, исправляя которые легко было бы стереть колорит времени и места. Мама родилась и провела свое детство и молодость на Украине и училась в украинской школе. Ошибки, с которыми она говорит, мне дороги. Это была единственная и, может быть, последняя (впрочем, первая беседа в жизни) после семнадцати лет разлуки, мы встретились на несколько дней, и, к счастью, при мне был магнитофон. В период жизни в России до 1973 года я игнорировал своих родственников, но, когда я стал взрослее, стал лучше понимать проблему генов и наследственности, играющих большую роль в СУДЬБЕ, о которой я пишу.*

*Я рассчитываю не на широкое понимание, но на глубокое. Запятые и точки в этой главе не имеют никакого значения, я их расставил как попало, условно, лишь бы они не нарушили внутреннего ритма изложения, биения сердца.*

## Рассказ матери

— Слушай сюда внимательно.

Война началась, на второй день отцу уже прислали посылку. На следующий день в пять часов утра он ушел. Когда они проходили мимо нашего дома (мы на втором этаже жили), нянька тебя держала на подоконнике, а ты всё махал руками — прощался, сам не знал, с кем.

— С отцом?

— С отцом. Со всеми. Шли они целым отрядом уже на вокзал. А Дина всё кричала: «Мороженого, мороженого!» Ничего не понимала, да, она любила очень мороженое.

Он уехал, и тут вскорости немцы подходили к Ростову, возле Каменска. Он уехал, отправили их, куда — не знаю. Я осталась. Тебе было год семь месяцев, и Дине четыре года. Я работала в школе, а когда война началась, мне учителя говорят: «Давай мы тебе напишем документы, что ты русская», — с евреями расправлялись там. Наш врач, который тебя принимал, она, когда тебя поднимала, всё кричала: «Рождай Вячеслава, рождай Вячеслава!» — это девятого марта, день рождения Молотова. «Давай Вячеслава, давай Вячеслава!» Ее немцы повесили на столбе, когда пришли, она целую неделю болталась.

— Она еврейка была?

— Еврейка. Муж на фронте был, с папой вместе, он врач был, а ее повесили. А перед тем двоих детей убили. Такие дети красивые были, такого возраста, как ты.

— *Значит, ты еще тогда там была?*

— Нет, это уже потом мне написали, что нашего врача повесили. Весь народ плакал. Она была очень хорошая.

Теперь это... С нами жила горбатенькая, ты помнишь ее? Ирина Михайловна.

— *Мне было меньше двух лет, я не помню ее.*

— Да, конечно не помнишь. Мы жили в одном коридоре, очень хорошая женщина, воспитательница детского дома, такого же возраста, как я. Мужа ее тоже забрали на фронт. Она и говорит: «Я скажу своей заведующей (Прасковия Васильевна ту звали), чтобы она тебя взяла с нашим детским домом. Его будут эвакуировать на север, в Красноярск. Пусть она тебя возьмет воспитательницей. Конечно, трудно тебе будет, но дети будут с тобой»...

*Тут я не заметил, что кончилась пленка в магнитофоне и часть рассказа осталась незаписанной, поэтому я перескажу. Маму действительно взяли в детский дом вместе со мной и сестрой. Детский дом был эвакуирован на север, двадцать пять человек детей и имущество везли в трех «лошадиных вагонах», прицепленных к военному эшелону. Обязанностью мамы было на остановках раздобыть воду и натаскать достаточно. Никто не знал, сколько времени простоят поезда, и всегда был риск отстать от него.*

*К несчастью, я сразу же заболел коклюшем и так сильно кашлял, что у меня выскакивала кишка. Фельдшера и лекарств не было, мама сама вставляла мне кишку на место. Коклюш — заразная детская болезнь, и мое присутствие в вагоне было опасно для окружающих. Я лежал в углу вагона, а все дети сидели в противоположном, чтобы было меньше шансов заразиться. Думали, что целесообразнее выбросить меня из вагона ради спасения остальных или надеяться, что Бог сделает чудо и все благополучно доедут. И вот однажды*

*на одной из остановок, когда мама уже перелезла с ведрами воды между колесами вагона по эту сторону железной дороги, — поезд тронулся.*

...и один военный хотел поднять лестницу и кричит мне: «Бросай ведра!», показывает, чтобы я бросила. Ведра я бросила, а он кричит, машет: «Скорей-скорей, пока лестницу не поднял!» Еще секунда, и я бы осталась.

Поднял лестницу, закрыл солдатскую дверь лошадиную, и темнота. Сплошная темнота. Вонюща. Мужики на нарах, не видно, где они там лежат. Но он сидит вот тут на дверях, пожилой уже какой-то. Мне теперь кажется, что он пожилой, он, наверное, не был пожилой, был солдат, сержант или кто он был там, он их вез отдыхать на север. Я стою, меня от холода и страстей пережитых всю трясет. А он говорит: «Успокойся, успокойся, ты уже села. Откуда ты, что?» — начал меня спрашивать.

Я рассказываю: «Три вагона из детского дома, мы ведем детей в Красноярск. И у меня двое маленьких детей, год семь месяцев и четыре года. Ни у кого больше нет маленьких, только у меня. Я воду должна носить. Другая, горбатенькая, она варит, а я воду ношу, чтобы наварить на такую ораву три раза в день и мыть, мыть, мыть». Корыто было, и мы всё детей купали.

И когда я ему это рассказываю, там уже солдаты: «А, тебе баба нужна! Мы три дня, три ночи не евши не пивши, у нас портянки присохли, сапоги к ногам пристали, а ты уже баб!.. Как ты мог в военное время взять бабу, поднять? Да откуда ты знаешь, что она тебе наговорит? Это, может, шпионка, она нас тут всех подорвет. Сбрось ее!» А он говорит: «Подождите, будет остановка, мы проверим, кто она, с детского дома или нет».

Меня всю трясет, я ничего не могу, а он говорит: «Скоро будет остановка, мы вылезем. Они могут и сбросить, настолько обозлены, что их нигде не кормят и с фронта прямо. Их как в бочки селедку натолкали. Как только бу-

дет остановка, прыгай, а я за тобой! И мы зайдем на паровоз, узнаем, кто едет, потому что неизвестно, сколько будет стоять, чтобы добежать до вас. Тут везут военное снаряжение, танки».

Ну, значит, ехали, ехали, еще не доехали до остановки, а тут один молодой солдат подошел, открыл дверь: «Мне нужно опражняться» — и стоит, держит эту свою, а мне было двадцать четыре года. Военный говорит: «Я сейчас стрелять буду в тебя. Ты видишь, женщина стоит? Что, у тебя не было времени опорожниться, мы стояли целые сутки, тебе сейчас нужно? (А он открыл, чтобы посмотреть, кто я такая... шпионка!). Сейчас же дверь закрой!» — и хлопнул дверью, закрыл. Тот полез, но еще более обозленный: «Молодую бабу тебе, значит. Ты еще не навоевался, а тебе баба нужна...» Но я уже молчу, Господи, хоть бы только не сбросили!

И он говорит: «Это остановка. Прыгай!» Я спрыгнула, он за мной, и тут сразу паровоз! Коптит, дымит. Он говорит: «Лезь!», а дым мне в глаза, я не вижу ничего. «Лезь! Может быть, сейчас пойдет». Я еле-еле залезла, и он за мной. Хорошо, что он за мной полез, меня бы и тут выбросили.

Тут помощник машиниста, бросает уголь в печку. Солдат говорит: «Ты дрожишь, иди погрейся возле котла в кочегарку». А они: «Это еще кто такая, что это тут за баба на паровозе?» А он говорит: «Это женщина. С вами едет детский дом?» — «Едет». — «Сколько вагонов?» — «Три». — «Где они?» — «В самом конце. Ну и что же? А при чем тут баба?» — «А это женщина, воду таскала для детей и отстала с ведрами, и я ее поднял, потому что она возле нашего вагона очутилась. Она везет двух маленьких детей, кроме того, что еще двадцать пять человек кормить-поить надо». — «Знаешь что? Мы за это под расстрел можем с тобой попасть. Это же военный поезд, ты представляешь, военный!.. Военное снаряжение, а ты бабу какую-то... Откуда ты знаешь, что она тебе наговорила? Как только должна

быть остановка, сразу слазьте и бегите в самый край, три вагона ихние... И проверяй всё. Иначе, и ты пойдешь под расстрел, и мы живые не будем».

И вот остановка. Только мы побежали, и вдруг поезд почему-то пошел. Пошел и опять остановился. Я опять наверх, а меня не пускают туда. И сюда не пускают, где солдаты, и туда не пускают. А он говорит: «Сейчас остановимся, сейчас остановимся, бегите!» Ну, и мы побежали. Я бегу, а меня ноги назад тянут, как же, ты представляешь такое положение? Я и замерзла, и от волнения. Господи, ну, в общем, бежим, бежим, и, кажется, конца нету.

И когда мы подбежали (конечно, долго бежали, состав громаднейший), слышим — там у нас шум, кричат. Прасковья Васильевна, заведующая: «Черт бы вас взял! Из-за вас мы... воду надо вам таскать!» И кричит на горбатенькую: «Зачем ты ее послала? Она и так маломощная, да еще двое детей! Что же с ними будет?! Что мы, будем с ними няньчиться?!» Я постучалась к ней, она: «Ой!» А меня все называют Софья Ивановна, я потом скажу, почему. «Ой! Софья Ивановна, ой! Миленькая, ой! Мы же тут все с ума сходим! Ой, давай скорей, скорей, кто тебя привел?» — «Да вот, — говорю, — сержант или кто, солдат меня спас, а то бы меня сбросили с поезда». — «Заходите, заходите во второй вагон. Там каша сейчас сварилась, сейчас мы вас покормим, какое счастье, что вы вернулись!»

Мы зашли. Прасковья Васильевна все расспросила и говорит: «А ну-ка, ребята, все на одни нары! Вот сейчас солдат...» А дети: «Военный! Ой, военный пришел!» Как же, дети-то, они любили военных. «Все на одни нары! Освободите нары, сейчас мы его покормим, и пусть он отдохнет».

Он говорит: «Да что вы, да меня расстреляют, я же их везу. Как я могу отдыхать? Мне надо сразу обратно». «Нет, мы вас так не отпустим, покушайте хотя бы». Наложили ему каши пшеничной, он говорит: «Три дня солдаты в рот ничего не брали, ни мы, ни они. Где, на остановках? То

быстро едут, то останавливают, то опять едут. Нигде мы не могли поесть. Солдаты очень злые, они убить сейчас могут».

Он поел и говорит: «Вы знаете, я не могу, не могу, я не дойду сейчас. Мне спать хочется». После того, как жарко натопили углем, каши наелся. А они говорят: «Знаете что? Ложитесь, немного отдохните. Будет остановка, мы вас разбудим, и вы уйдете». Он говорит: «Ложиться я не имею права, но я не могу идти» — и лег. Вот как лег в сапогах по диагонали и сразу захрапел. Захрапел, и мы его не могли разбудить, хотя были остановки.

И уже на рассвете мы его разбудили, еле-еле, и за ноги и за голову толкали его. У кого что было... махорка, табак, папиросы, все, каждый, везли своим мужьям, всё ему отдали: «Нате, солдатам разделите. Только чтобы они успокоились, и скажите, что эта женщина с детского дома, воспитательница». И хоть бы мы спросили, как его зовут. Я сама думала первое время, что напишу ему, благодарность вынесу, что он меня спас. Но ничего не знаю, кто он, что он. Знаю, что такой уже пожиловатый, седоватый, наверное, лет пятьдесят. Он: «Спасибо, спасибо» — и пошел, а я осталась.

Осталась. Нас должны везти до Красноярска, еще далеко, а мы уже тут мерзнем. Одежи теплой нет, все в демисезонном, легонькое, ботиночки. Заведующая переговорила по телефону с разными городами: «Куда нас? Остановите нас раньше». Мы не доехали до Красноярска, и оставили нас в Чкалове. Чкалов — это степь.

— *А как с этой болезнью, коклюшем?*

— Коклюш у тебя всюю, кишечка выпадает, но я управлялась, уже научили меня. Я тебе заправляла.

В общем, приехали. Врачи собрались. Медосмотр. Все здоровы, один ты у меня больной. «Поместить вместе не можем». Нас в школу привезли. Много комнат, распре-

делили, кто где. Дину оставили с девочками, а меня и тебя — «До утра посидите в коридоре, а утром ищите частную квартиру».

А там деревня, маленькие халупки в степи. «Маяк» назывался этот совхоз. Снег, сугробы и степь. Утром пошла со мной заведующая; искали, нашли старуху одну недалеко, но всё равно через степь. Топят соломой. После топки — ничего, тепло. Кончили топить — холодища, особенно ночью, дует ветер. У нее комнатка одна и еще какая-то халупка. Она спит на железной кровати, а я с тобой на столе. Дина в школе осталась.

Ну, до вечера-то она натопила. Мне дали с собой крыночку масла. Да, между прочим, когда мы на вокзал шли в Каменске, то Дина несла в руках жбанчик с маслом, и у нее в дороге выхватили это масло. А там уже, в детском доме, мне дали крыночку масла и крыночку повидла: «На первый случай, ты уйдешь на работу, а его кормить надо». Я говорю бабке: «Вот смотрите, утром он встанет — вы его накормите».

Утром я встала, ты меня всю описал с ног до головы. Я вся мокрая, наверх одела пальто и пошла. Еще темно, мне уже на работу. Темно, и я полезла в сугробы, вот тут я и простудила себе почки, и всё, и по-женски, три операции перенесла после. Залезла в сугроб и вылезти не могу, что я, большая? я маленькая, сугробы выше меня. Хорошо, что с головой меня не закрывали, а то бы я там в сугробе и осталась. Вылезу из сугроба, иду-иду на свет, где школа, иду — опять сугроб. Еле дошла. Меня там встретили, заведующая Ирина Михайловна и говорит: «Давайте переоденем ее, она же вся мокрая». Меня переодели, дали всякое барахло. Я переоделась и говорю: «Что же я буду делать, как я смогу?» «Ну, несколько дней, пока этот кашель у него немножко не затихнет. Врачи не разрешают: заразит всех детей».

Вечером я ушла домой, думаю, ты сыт, там и хлебушек был, повидло. Прихожу, а бабка говорит: «А мы уже всё

съели». И повидла уже нет, и масла нет, и хлеба нет. Ты орешь: «Кушать хочу!» Боже мой! Потом уже я стала каждый день описанная вся, и тогда еще болезни не брали нас, меня передевали каждый раз. И каждый раз я уже несла тебе упаковано поесть. Потому нечего на бабку надеяться, она старая, вроде ничего не понимает, а всё понимает. Она, наверное, своим детям раздавала, чёрт ее знает.

Вот так несколько дней, я говорю: «Больше не могу, как хотите, дайте мне какую-нибудь конуру, чтобы я с ним жила в школе. Всё равно не выживу, эти сугробы, я в сугробе где-нибудь останусь, что вам, легче будет?» Дней пять, наверное, я лазила по сугробам, Потом через несколько дней дали мне комнатку, и я с тобой только. Дина, та с детьми, ее и не пускали сюда, и никого не пускали, и я только с тобой побуду и утром убегаю на работу.

Ты на кровати, кровать у нас была одна. Утром ты всташь с кровати на стол, со стола на пол — бух! «Софья Ивановна! Саша там орет!» — прибегу, ты лежишь на полу, плачешь. Я тебя успокою. А что ты понимал? Год семь месяцев. Положу на кровать, опять бегу, мне ж надо работать, там же целая группа. В школе я могла работать, я знала — класс, урок, а тут же надо уметь организовывать, они же такие непослушные, такие самодовольные. У той воспитательницы всё идет, она сама была из детского дома, она знала, как их воспитывать, она где и шлепнет, где за волосы потаскает, а я чего? У меня и тут тяжело, и там голова: как ты? И все за мной бегут, что ты упал, упал, а уложить тебя нельзя.

Дали лекарство, начала поить тебя лекарством. Кушать тебе ношу, ну ладно, тут хоть в тепле, и я хоть не ходила по сугробам. А потом, значит, кашель стал затихать и кишочка не стала так выпадать. Она выпадала только немножко.

Потом уже в Чкалове присылали медсестру с мальчиком побольше, старшим ее. Она не хотела с нами жить, а заведующая говорит: «Больше негде. Софья Ивановна с

ребенком, и вы с ребенком, будете жить в одной комнате». Потом она согласилась. Вот мы стали с ней вдвоем жить и вдвоем нянчить детей. Ну, конечно, мне доставалось, потому что Дина-то все время с детьми была, с девочками — она хорошенькая такая была и уже разговаривала. А с тобой я обегалась. Когда Ирина Михайловна прибежит с тобой понянчиться, когда я прибегу. Работа была не к чёрту, всё время на нервах.

— *Сколько: год, два, три?*

— Год, наверное, потому что уже потом я услышала, что из Каменска вывозят оборудование, грампластинки, с ними много солдат, которые были там ранены или вообще вернулись из плена, и отправляют в Кемерово. Я написала в Кемерово, спросила, есть с Каменска? Есть. А нет ли среди них Путова Сергея Ивановича? Есть. А он уже посылал везде по всем инстанциям. Ему сказали, что мы в Красноярск поехали. Он в Красноярске ищет, а мы в Чкаловске.

В общем, как-то списались, и он приезжает. Это в 43-м году уже, наверное. Вы его: «Дядя, дядя». Дина его на «вы», и ты его на «вы». Там все его хорошо встретили. Но мы еще молодые были и дураки. Надо было сказать, что он после ранения. Но он не был ранен, а скрывался в деревнях, его прятали от немцев. Он там строил колодцы, ремонтировал, он умел это делать. Его переодели в крестьянскую одежду, и так он выбрался.

— *А он рассказывал, что был контужен?*

— Был контужен? Вот это я не знаю. Факт тот, что он приехал-то за мной.

*Когда-то отец рассказывал мне о войне. В Белоруссии, не помню, в каком году, он был начальником автоколонны и его*

*часть разбомбили немцы с самолетов. Он видел своих товарищей, разорванных и летавших в небе. Уцелевшие были взяты в плен или убиты. После этого отец несколько дней скрывался в болотах. Он был контужен, но, чтобы не попасть в плен, дня три просидел под водой с тростником в рту. Потом ему удалось добраться до ближайших сёл. Он умел ориентироваться в лесу, так как был охотник, и хорошо знал крестьянский быт, так как вырос в крестьянской семье. Благодаря этому он выжил. Крестьяне помогли ему, так как он был нужен, знал технику, умел чинить машины.*

А там у Прасковьи Васильевны, директорши, две дочки. Одна работала, а другая жила просто, она была женой летчика, который был на фронте. Эта заведующая, конечно, они жили прекрасно, всё время блины жарили, блинчики, ели-пили-жрали. А мы только облизывались, нам пшенная каша или суп. Ну, ладно, так хоть бы.

У меня был аттестат, я могла чего-нибудь купить, чтобы вас кормить, масло сливочное, а тут в поселке: «Эвакуированным ничего! Ничего не продадим эвакуированным!»

— *А папа уже работал?*

— В Кемерове устанавливали оборудование.

Ну, тут когда узнали... «А, вот наш брат воюет, а эти умеют туда-сюда» — и уже на меня все косо смотрят. Когда он приехал за семьей, надо было нам сразу сказать: после ранения и всё. Но мы-то, дураки-то, спроста что мы сказали, не знаю.

Факт тот, что через несколько дней пришла похоронка этого летчика. Что там было, что там делалось! Они жили прекрасно, конечно, с этим летчиком, и она орала на весь детский дом, меня и папу проклинала: из-за них, и так и сяк и вот так и туда-сюда. Но папа говорит: «Давай скорей будем собираться», — он выхлопотал, и мы уехали. Из «Маяка», детского дома, и попали в Кемерово.